

Николай Гоголь

Миргород

Москва
«Книга по Требованию»

УДК 93
ББК 63.3
Г58

Г58 **Гоголь Н.**
Миргород / Николай Гоголь – М.: Книга по Требованию, 2012. – 430 с.

ISBN 978-5-4241-1536-3

ISBN 978-5-4241-1536-3

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

Николай Васильевич Гоголь
ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ

ТАРАС БУЛЬБА. РЕДАКЦИЯ МИРГОРОДА. 1835 г

I

«А поверотись, сынку! цур тебе, какой ты смешной! Что это на вас за поповские подрясники? И эдак все ходят в академии?»

Таковыми словами встретил старый Бульба двух сыновей своих, учившихся в киевской бурсе и приехавших уже на дом к отцу.

Сыновья его только что слезли с коней. Это были два дюжие молодца, еще смотревшие исподлоба, как недавно выпущенные семинаристы. Крепкие, здоровые лица их были покрыты первым пухом волос, которого еще не касалась бритва. Они были очень оконфужены таким приемом отца и стояли неподвижно, потупив глаза в землю.

«Постойте, постойте, дети», продолжал он, поворачивая их: «какие же длинные на вас свитки! [Свиткой называется верхняя одежда у малороссиян. (Прим. Гоголя.)] Вот это свитки! Ну, ну, ну! таких свиток еще никогда на свете не было! А ну, побегите оба: я посмотрю, не попадаете ли вы?»

«Не смейся, не смейся, батьку!» сказал, наконец, старший из них.

«Фу ты, какой пышный! а отчего ж бы не смеяться?»

«Да так. Хоть ты мне и батько, а как будешь смеяться, то, ей-богу, поколочу!»

«Ах, ты сякой, такой сын! Как, батька?» сказал Тарас Бульба, отступивши с удивлением несколько назад.

«Да хоть и батька. За обиду не посмотрю и не уважу никого.»

«Как же ты хочешь со мною биться? разве на кулаки?»

«Да уж на чем бы то ни было.»

«Ну, давай на кулаки!» говорил Бульба, засучив рукава. И отец с сыном, вместо приветствия после давней отлучки, начали преусердно колотить друг друга.

«Вот это сдурел старый!» говорила бледная, худошавая и добрая мать их, стоявшая у порога и не успевшая еще обнять ненаглядных детей своих: «Ей богу, сдурел! Дети приехали домой, больше году не видели их, а он задумал бог знает что: биться на кулачки.»

«Да он славно бьется!» говорил Бульба, остановившись. «Ей богу, хорошо!.. так-таки», продолжал он, немного оправляясь: «хоть бы и не пробовать. Добрый будет козак! Ну, здоров, сынку! почеломкаемся!» И отец с сыном начали целоваться. «Добре, сынку! Вот так колоти всякого, как меня тузил. Никому не спускай! А всё-таки на тебе смешное убранство. Что это за веревка висит? А ты, бейбас, что стоишь и руки опустил?» говорил он, обращаясь к младшему. «Что-ж ты, собачий сын, не колотишь меня?»

«Вот еще выдумал что!» говорила мать, обнимавшая между тем младшего: «И придет же в голову! Как можно, чтобы дитя било родного отца? Притом будто до того теперь: дитя малое, проехало столько пути, утомилось (это дитя было двадцати слишком лет и ровно в сажень ростом), ему бы теперь нужно отпочить и поесть чего-нибудь, а он заставляет биться!»

«Э, да ты мазунчик, как я вижу!» говорил Бульба: «Не слушай, сынку, матери: она — баба. Она ничего не знает. Какая вам нежба? Ваша нежба — чистое поле да добрый конь; вот ваша нежба. А видите вот эту саблю — вот ваша матерь! Это всё дрянь, чем набивают вас: и академия, и все те книжки, буквари и философия, — всё это ка зна що я плевать на всё это!» Бульба присовокупил еще одно слово, которого однако же цензора не пропускают в печать и хорошо делают. «Я вас на той же неделе отправлю на Запорожье. Вот там ваша школа! Вот там только наберетесь разуму!»

«И только всего одну неделю быть им дома?» говорила жалостно, со слезами на глазах, худощавая старуха-мать. «И погулять им, бедным, не удастся, и дому родного некогда будет узнать им, и мне не удастся наглядеться на них!»

«Полно, полно, старуха! Козак не на то, чтобы возиться с бабами. Ступай скорее да носи нам всё, что ни есть, на стол. Пампушек, маковиков, медовиков и других пундиков не нужно, а прямо так и тащи нам целого барана на стол. Да горелки, чтобы горелки было побольше! Не этой разной, что с выдумками: с изюмом, родзинками и другими вытребеньками, а чистой горелки, настоящей, такой, чтобы шипела, как бес!»

Бульба повел сыновей своих в светлицу, из которой пугливо выбежали две здоровые девки в красных монистах, увидевши приехавших паничей, которые не любили спускаться никому. Всё в светлице было убрано во вкусе того времени; а время это касалось XVI века, когда еще только что начинала рождаться мысль об унии. Всё было чисто, вымазано глиною. Вся стена была убрана саблями и ружьями. Окна в светлице были маленькие, с круглыми матовыми стеклами, какие встречаются ныне только в старинных церквях. На полках, занимавших углы комнаты и сделанных угольниками, стояли глиняные кувшины, синие и зеленые фляжки, серебряные кубки, позолоченные чарки венецианской, турецкой и черкесской работы, зашедшие в светлицу Бульбы разными путями чрез третьи и четвертые руки, что было очень обыкновенно в эти удалые времена. Липовые скамьи вокруг всей комнаты и огромный стол посреди ее, печь, разъехавшаяся на полкомнаты, как толстая русская купчиха, с какими-то нарисованными петухами на изразцах, — все эти предметы были довольно знакомы нашим двум молодцам, приходившим почти каждый год домой на каникулярное время, приходившим потому, что у них не было еще коней, и потому, что не было в обычае позволять школярам ездить верхом. У них были только длинные чубы, за которые мог выдрать их всякий козак, носивший оружие. Бульба, только при выпуске их, послал им из табуна своего пару молодых жеребцов.

«Ну, сынки, прежде всего выпьем горелки! Боже, благослови! Будьте здоровы, сынки: и ты, Остап, и ты, Андрий! Дай же, боже, чтоб вы на войне всегда были удачливы! Чтобы бусурменов били, и турков бы били, и татарву били бы; когда и ляхи начнут что против веры нашей чинить, то и ляхов бы били. Ну, подставляй свою чарку; что, хороша горелка? А как по-латыни горелка? То-то, сынку, дурни были латынцы: они и не знали, есть ли на свете горелка. Как бишь того звали, что латинские вирши писал? Я грамоты-то не слишком разумею, то и не помню; Гораций, кажется?»

«Вишь какой батька!» подумал про себя старший сын, Остап: «всё, собака, знает, а еще и прикидывается.»

«Я думаю, архимандрит», продолжал Бульба: «не давал вам и понюхать го-

релки. А что, сынки, признайтесь, порядочно вас стегали березовыми да вишневыми по спине и по всему, а может, так как вы уже слишком разумные, то и плетьюгами? Я думаю, кроме суботки, драли вас и по середам, и по четвергам?»

«Нечего, батько, вспоминать», говорил Остап с обыкновенным своим флегматическим видом: «что было, то уже прошло.»

«Теперь мы можем расписать всякого», говорил Андрий: «саблями да списами. Вот пусть только попадетсЯ татарва.»

«Добре, сынку! ей богу, добре! Да когда так, то и я с вами еду! ей богу, еду! Какого дьявола мне здесь ожидать? Что, я должен разве смотреть за хлебом да за свинарjami? Или бабиться с женою? Чтoб она пропала! Чтoб я для ней оставался дома? Я козак. Я не хочу! Так что же, что нет войны? Я так поеду с вами на Запорожье, погулять. Ей богу, еду!» И старый Бульба мало-по-малу горячился и, наконец, рассердился совсем, встал из-за стола и, присанившись, топнул ногою. «Завтра же едем! Зачем откладывать? Какого врага мы можем здесь выси- деть? На что нам эта хата? к чему нам всё это? на что эти горшки?» При этом Бульба начал колотить и швырять горшки и фляжки. Бедная старушка-жена, привыкшая уже к таким поступкам своего мужа, печально глядела, сидя на лавке. Она не смела ничего говорить; но, услышавши о таком страшном для нее решении, она не могла удержаться от слез; взглянула на детей своих, с которыми угрожала такая скорая разлука, — и никто бы не мог описать всей безмольной силы ее горести, которая, казалось, трепетала в глазах ее и в судорожно сжатых губах. Бульба был упрямым страшно. Это был один из тех характеров, которые могли только возникнуть в грубый XV век, и притом на полукочующем Востоке Европы, во время правого и неправого понятия о землях, сделавшихся каким-то спорным, нерешенным владением, к каким принадлежала тогда Украина. Вечная необходимость пограничной защиты против трех разнохарактерных наций — всё это придавало какой-то вольный, широкий размер подвигам сынов ее и воспитало упрямяство духа. Это упрямяство духа отпечаталось во всей силе на Тарасе Бульбе. Когда Баторий устроил полки в Малороссии и облек ее в ту воинственную арматуру, которою сперва означены были одни обитатели порогов, он был из числа первых полковников. Но при первом случае перессорился со всеми другими за то, что добыча, приобретенная от татар соединенными польскими и козацкими войсками, была разделена между ими не поровно и польские войска получили более преимущества. Он, в собрании всех, сложил с себя достоинство и сказал: «Когда вы, господа полковники, сами не знаете прав своих, то пусть же вас чорт водит за нос. А я наберу себе собственный полк, и кто у меня вырвет мое, тому я буду знать, как утереть губы.» Действительно, он в непродолжительное время из своего же отцовского имения составил довольно значительный отряд, который состоял вместе из хлебопашцев и воинов и совершенно покорствовался его желанию. Вообще он был большой охотник до набегов и бунтов; он носом слышал, где и в каком месте вспыхивало возмущение и уже, как снег на голову, являлся на коне своем. «Ну, дети! что и как? кого и за что нужно бить?» обыкновенно говорил он и вмешивался в дело. Однако ж, прежде всего, он строго разбирал обстоятельства, и в таком только случае приставал, когда видел, что поднявшие оружие действительно имели право поднять его, хотя это право было, по его мнению, только в следующих случаях: если соседняя нация угоняла скот, или отрезывала часть земли, или комиссары налагали большую

повинность, или не уважали старшин и говорили перед ними в шапках, или посмеялись над православною верою — в этих случаях непременно нужно было браться за саблю; против бусурманов же, татар и турок, он почитал во всякое время справедливым поднять оружие, во славу божию, христианства и козачества. Тогдашнее положение Малороссии, еще не сведенное ни в какую систему, даже не приведенное в известность, способствовало существованию многих совершенно отдельных партизанов. Жизнь вел он самую простую, и его нельзя бы было вовсе отличить от рядового козака, если бы лицо его не сохраняло какой-то повелительности и даже величия, особливо, когда он решался защищать что-нибудь. Бульба заранее утешал себя мыслию о том, как он явится теперь с двумя сыновьями и скажет: «Вот посмотрите, каких я к вам молодцов привел!» Он думал о том, как повезет их на Запорожье — эту военную школу тогдашней Украины, представит своим сотоварищам и поглядит, как при его глазах они будут подвигаться в ратной науке и бражничестве, которое он почитал тоже одним из первых достоинств рыцаря. Он вначале хотел отправить их одних, потому что считал необходимою заняться новою сформировкою полка, требовавшей его присутствия. Но при виде своих сыновей, рослых и здоровых, в нем вдруг вспыхнул весь воинский дух его, и он решился сам с ними ехать на другой же день, хотя необходимость этого была одна только упрямая воля.

Не теряя ни минуты, он уже начал отдавать приказания своему асаулу, которого называл Товкачом, потому что тот действительно похож был на какую-то хладнокровную машину: во время битвы он равнодушно шел по неприятельским рядам, размахивая своею саблей, как будто бы месил тесто, как кулачный боец, прочищающий себе дорогу. Приказания состояли в том, чтобы оставаться ему в хуторе, покамест он даст знать ему выступить в поход. После этого пошел он сам по куреням своим, раздавая приказания некоторым ехать с собою, напоить лошадей, накормить их пшеницею и подать себе коня, которого он обыкновенно называл Чортом.

«Ну, дети, теперь надобно спать, а завтра будем делать то, что бог даст. Да не стели нам постель! Нам не нужна постель. Мы будем спать на дворе.»

Ночь еще только что обняла небо, но Бульба всегда ложился рано. Он развалился на ковре, накрылся бараньим тулупом, потому что ночной воздух был довольно свеж и потому что Бульба любил укрыться потеплее, когда был дома. Он вскоре захрапел, и за ним последовал весь двор. Всё, что ни лежало в разных его углах, захрапело и запело; прежде всего заснул сторож, потому что более всех напился для приезда паничей. Одна бедная мать не спала. Она приникла к изголовью дорогих сыновей своих, лежавших рядом. Она расчесывала гребнем их молодые, небрежно всклоченные кудри и смачивала их слезами. Она глядела на них вся, глядела всеми чувствами, вся превратилась в одно зрение и не могла наглядеться. Она вскормила их собственной грудью; она возрастила, взлелеяла их — и только на один миг видит их перед собою. «Сыны мои, сыны мои милые! что будет с вами? что ждет вас? Хоть бы недельку мне поглядеть на вас!» говорила она, и слезы остановились в морщинах, изменивших ее когда-то прекрасное лицо. В самом деле, она была жалка, как всякая женщина того удалого века. Она миг только жила любовью, только в первую горячку страсти, в первую горячку юности, и уже суровый прельстителъ ее покидал ее для сабли, для товарищей, для бражничества. Она видела мужа в год два, три дня, и потом несколько лет о

нем не бывало слуха. Да и когда виделась с ним, когда они жили вместе, что за жизнь ее была? Она терпела оскорбления, даже побои; она видела из милости только оказываемые ласки; она была какое-то странное существо в этом соборище безжженных рыцарей, на которых разгульное Запорожье набрасывало суровый колорит свой. Молодость без наслаждения мелькнула перед нею, и ее прекрасные свежие щеки и перси без лобзаний отцвели и покрылись преждевременными морщинами. Вся любовь, все чувства, всё, что есть нежного и страстного в женщине, всё обратилось у ней в одно материнское чувство. Она с жаром, с страстью, с слезами, как степная чайка, вилась над детьми своими. Ее сыновей, ее милых сыновей берут от нее, берут для того, чтобы не увидеть их никогда. Кто знает, может быть, при первой битве, татарин срубит им головы, и она не будет знать, где лежат брошенные тела их, которые расклевает хищная подорожная птица и за каждый кусочек которых, за каждую каплю крови она отдала бы всё. Рыдая, глядела она им в очи, которые всемогущий сон начинал уже смыкать, и думала: «Авось-либо Бульба, проснувшись, отсрочит денька на два отъезд. Может быть, он задумал оттого так скоро ехать, что много выпил.»

Месяц с вышины неба давно уже озарял весь двор, наполненный спящими, густую кучу верб и высокий бурьян, в котором потонул частокол, окружавший двор. Она всё сидела в головах милых сыновей своих, ни на минуту не сводила с них глаз своих и не думала о сне. Уже кони, зачужа рассвет, все полегли на траву и перестали есть; верхние листья верб начали лепетать, и мало-по-малу лепечущая струя спустилась по ним до самого низу. Она просидела до самого света, вовсе не была утомлена и внутренно желала, чтобы ночь протянулась как можно дольше. Со степи понеслось звонкое ржание жеребенка. Красные полосы ясно сверкнули на небе. Бульба вдруг проснулся и вскочил. Он очень хорошо помнил всё, что приказывал вчера.

«Ну, хлопцы, полно спать! Пора! пора! Напойте коней! А где старá?» (так он обыкновенно называл жену свою). «Живее, старá, готовь нам есть, потому что путь великий лежит!» Бедная старушка, лишённая последней надежды, уныло поплелась в хату. Между тем, как она с слезами готовила всё, что нужно к завтраку, Бульба раздавал свои приказания, возился на конюшне и сам выбирал для детей своих лучшие убранства. Бурсаки вдруг преобразились: на них явились, вместо прежних запачканных сапогов, сафьянные красные, с серебряными подковами, шаровары, шириною в Черное море, с тысячью складок и со сборами, перетянулись золотым очкуром. К очкуру прицеплены были длинные ремешки с кистями и прочими побрягушками для трубки. Казакин алого цвета, сукна яркого, как огонь, опоясался узорчатым поясом; чеканные турецкие пистолеты были задвинуты за пояс; сабля брякала по ногам их. Их лица, еще мало загоревшие, казалось, похорошели и побелели: молодые черные усы теперь как-то ярче оттеняли белизну их и здоровый, мощный цвет юности; они были хороши под черными бараными шапками с золотым верхом. Бедная мать! она, как увидела их, она и слова не могла промолвить, и слезы остановились в глазах ее.

«Ну, сыны, всё готово! нечего мешкать!» произнес наконец Бульба. «Теперь, по обычаю христианскому, нужно перед дорогою всем присесть.»

Все сели, не выключая даже и хлопцев, стоявших почтительно у дверей.

«Теперь благослови, мать, детей своих!» сказал Бульба: «Моли бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда честь лыцарскую [Рыцарскую (Прим.

Гоголя.)), чтобы стояли всегда за веру Христову; а не то — пусть лучше пропадут, чтобы и духу их не было на свете! Подойдите, дети, к матери. Молитва материнская и на воде, и на земле спасает.» Мать, слабая как мать, обняла их, вынула две небольшие иконы, надела им, рыдая, на шею. «Пусть хранит вас... божия мать... не забывайте, сынки, мать вашу... пришлите хоть весточку о себе»... далее она не могла продолжать.

«Ну, пойдем, дети!» сказал Бульба. У крыльца стояли оседланные кони. Бульба вскочил на своего Чорта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе двадцатипудовое бремя, потому что Бульба был чрезвычайно тяжел и толст. Когда увидела мать, что уже и сыны ее сели на коней, она кинулась к меньшему, у которого в чертах лица выражалось более какой-то нежности; она схватила его за стремя, она прилипнула к седлу его и, с отчаяньем во всех чертах, не выпускала его из рук своих. Два дюжих козака взяли ее бережно и унесли в хату. Но когда выехали они за ворота, она, со всею легкостью дикой козы, несообразной ее летам, выбежала за ворота, с непостижимой силою остановила лошадь и обняла одного из них с какою-то помешанною, бесчувственною горячностью; ее опять увели. Молодые козаки ехали смутно и удерживали слезы, боясь отца своего, который, однако же, с своей стороны тоже был несколько смущен, хотя не старался этого показывать. День был серый; зелень сверкала ярко; птицы щебетали как-то в разлад. Они, проехавши, оглянулись назад: хутор их как будто ушел в землю, только стояли на земле две трубы от их скромного домика; одни только вершины дерев, дерев, по сучьям которых они лазили, как белки; один только дальний луг еще стлался перед ними, тот луг, по которому они могли припомнить всю историю жизни, от лет, когда качались по росистой траве его, до лет, когда поджидали в нем чернобровую козачку, боязливо летевшую чрез него с помощью своих свежих быстрых ножек. Вот уже один только шест над колодецем, с привязанным вверху колесом от телеги, одиноко торчит на небе; уже равнина, которую они проехали, кажется издали горою и всё собою закрыла. Прощайте и детство, и игры, и всё, и всё!

II

Все три всадника ехали молчаливо. Старый Тарас думал о давнем: перед ним проходила его молодость, его лета, его протекшие лета, о которых всегда почти плачет козак, желавший бы, чтобы вся жизнь его была молодость. Он думал о том, кого он встретит на Сече из своих прежних сотоварищей. Он вычислял, какие уже перемерли, какие живут еще. Слеза тихо круглилась на его зенице, и поседевшая голова его уныло понурилась.

Сыновья его были заняты другими мыслями. Теперь кстати сказать что-нибудь о сыновьях его. Они были отданы по двенадцатому году в киевскую академию, потому что все почетные сановники тогдашнего времени считали необходимою дать воспитание своим детям, хотя это делалось с тем, чтобы после совершенно позабыть его. Они тогда были, как все, поступавшие в бурсу, дики, воспитаны на свободе, и там уже они обыкновенно несколько шлифовались и получали что-то общее, делавшее их похожими друг на друга. Старший, Остап, начал с того свое поприще, что в первый год еще бежал. Его возвратили, высекли страшно и засадили за книгу. Четыре раза закапывал он свой букварь в землю, и четыре раза, отодравши его бесчеловечно, покупали ему новый. Но, без сомнения,

он повторил бы и в пятый, если бы отец не дал ему торжественного обещания продержать его в монастырских служках целые двадцать лет, и что он не увидит Запорожья вовеки, если не выучится в академии всем наукам. Любопытно, что это говорил тот же самый Тарас Бульба, который бранил всю ученость и советовал, как мы уже видели, детям вовсе не заниматься ею. С этого времени Остап начал с необыкновенным старанием сидеть за скучною книгою и скоро стал на ряду с лучшими. Тогдашний род учения страшно расходился с образом жизни. Эти схоластические, грамматические, риторические и логические тонкости решительно не прикасались к времени, никогда не применялись и не повторялись в жизни. Ни к чему не могли привязать они своих познаний, хотя бы даже менее схоластических. Самые тогдашние ученые более других были невежды, потому что вовсе были удалены от опыта. Притом же это республиканское устройство бursы, это ужасное множество молодых, дюжих, здоровых людей, всё это должно было им внушить деятельность совершенно вне их учебного занятия. Иногда плохое содержание, иногда частые наказания голодом, иногда многие потребности, пробуждающиеся в свежем, здоровом, крепком юноше, всё это, соединившись, рождало в них ту предприимчивость, которая после развивалась на Запорожье. Голодная бурса рыскала по улицам Киева и заставляла всех быть осторожными. Торговки, сидевшие на базаре, всегда закрывали руками своими пироги, бублики, семечки из тыкв, как орлицы детей своих, если только видели проходившего бурсака. Консул, долженствовавший, по обязанности своей, наблюдать над подведомственными ему сотоварищами, имел такие страшные карманы в своих шароварах, что мог поместить туда всю лавку заезавшейся торговли. Эта бурса составляла совершенно отдельный мир: в круг высший, состоявший из польских и русских дворян, они не допускались. Сам воевода Адам Кисель, несмотря на оказываемое покровительство академии, не вводил их в общество и приказывал держать их поостроже. Впрочем, это наставление было вовсе излишне, потому что ректор и профессоры-монахи не жалели лоз и плетей, и часто ликторы, по их приказанию, пороли своих консулов так жестоко, что те несколько недель почесывали свои шаровары. Многим из них это было вовсе ничего и казалось немного чем крепче хорошей водки с перцем; другим, наконец, сильно надоедали такие беспрестанные припарки, и они бежали на Запорожье, если умели найти дорогу и если сами не были перехватываемы на пути. Остап Бульба, несмотря на то, что начал с большим старанием учить логику и даже богословию, но никак не избавлялся неумолимых розг. Естественно, что всё это должно было как-то ожесточить характер и сообщить ему твердость, всегда отличавшую козаков. Остап считался всегда одним из лучших товарищей. Он редко предводительствовал другими в дерзких предприятиях — обратить чужой сад или огород, но зато он был всегда одним из первых, приходивших под знамена предприимчивого бурсака, и никогда, ни в каком случае не выдавал своих товарищей. Никакие плети и розги не могли заставить его это сделать. Он был суров к другим побуждениям, кроме войны и разгульной пирушки; по крайней мере, никогда почти о другом не думал. Он был прямодушен с равными. Он имел доброту в таком виде, в каком она могла только существовать при таком характере и в тогдашнее время. Он душевно был тронут слезами бедной матери, и это одно только его смущало и заставляло задумчиво опустить голову.

Меньшой брат его, Андрий, имел чувства несколько живее и как-то более

развиты. Он учился охотнее и без напряжения, с каким обыкновенно принимается тяжелый и сильный характер. Он был более изобретатель, нежели его брат; чаще являлся предводителем довольно опасного предприятия и иногда, с помощью изобретательного ума своего, умел увертываться от наказания, тогда как брат его, Остап, отложивши всякое попечение, скидал с себя свитку и ложился на пол, вовсе не думая просить о помиловании. Он также кипел жаждою подвига, но, вместе с нею, душа его была доступна и другим чувствам. Потребность любви вспыхнула в нем живо, когда он перешел за 18 лет. Женщина чаще стала представляться горячим мечтам его. Он, слушая философические диспуты, видел ее поминутно, свежую, черноокою, нежную. Пред ним беспрерывно мелькали ее сверкающие, упругие перси, нежная, прекрасная, вся обнаженная рука; самое платье, облипавшее вокруг ее свежих, девственных и вместе мощных членов, дышало в мечтах его каким-то невыразимым сладострастием. Он тщательно скрывал от своих товарищей эти движения страстной юношеской души, потому что в тогдашний век было стыдно и бесчестно думать козаку о женщине и любви, не отведав битвы. Вообще в последние годы он реже являлся предводителем какой-нибудь ватаги, но чаще бродил один где-нибудь в уединенном закоулке Киева, потопленном в вишневых садах, среди низеньких домиков, заманчиво глядевших на улицу. Иногда он забирался и в улицу аристократов, в нынешнем старом Киеве, где жили малороссийские и польские дворяне и дома были выстроены с некоторою прихотливостию. Один раз, когда он зазевался, наехала почти на него колымага какого-то польского пана, и сидевший на козлах возница, с прерастающими усами, хлынул его довольно исправно бичом. Молодой бурсак вскипел: с безумною смелостию схватил он мощною рукою свою за заднее колесо и остановил колымагу. Но кучер, опасаясь разделки, ударил по лошадям, они рванули — и Андрий, к счастью, успевший отхватить руку, шлепнулся на землю, прямо лицом в грязь. Самый звонкий и гармонический смех раздался над ним. Он поднял глаза и увидел стоящую у окна брюнетку, прекрасную, как не знаю что, черноглазую и белую, как снег, озаренный утренним румянцем солнца. Она смеялась от всей души, и смех придавал какую-то сверкающую силу ее ослепительной красоте. Он оторопел. Он глядел на нее, совсем потерявшись, рассеянно обтирая с лица своего грязь, которою еще более замазывался. Кто бы была эта красавица? Он хотел было узнать от дворни, которая кучею, в богатом убранстве, стояла за воротами, окруживши игравшего молодого бандуриста. Но дворня подняла смех, увидевши его запачканную рожу, и не удостоила его ответом. Наконец, он узнал, что это была дочь приехавшего на время ковенского воеводы. В следующую же ночь, с свойственною одним бурсакам дерзостию, он пролез чрез частокол в сад, взлез на дерево, раскинувшееся ветвями, упоравшими в самую крышу дома; с дерева перелез на крышу и чрез трубу камина пробрался прямо в спальню красавицы, которая в это время сидела перед свечою и вынимала из ушей своих дорогие серьги. Прекрасная полячка так испугалась, увидевши вдруг перед собою незнакомого человека, что не могла произнести ни одного слова; но когда увидела, что бурсак стоял, потупив глаза и не смея от робости поворотить рукою, когда узнала в нем того же самого, который хлопнулся перед ее глазами на улице, смех вновь овладел ею. Притом в чертах Андрия ничего не было страшного: он был очень хорош собою. Она от души смеялась и долго забавлялась над ним. Красавица была ветрена, как полячка, но глаза ее,